**Гоголь − П. А. Плетневу, 7 января 1842 г., из Москвы**

По материалам книги

Вересаев В.В. **Гоголь в жизни**: **Систематический свод подлинных свидетельств современников**: С иллюстрациями на отдельных листах. – М.; Л.: Academia, **1933**. – 529 с.

Интернет-версия доступна по ссылке <http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/veg/veg-001-.htm>

Расстроенный и телом, и духом, пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург; мне это нужно, я это знаю, и при всём том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки её приняли теперь такие странные образы... Но Бог с ними! Не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить.

Удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись («Мёртвых Душ»). Я отдаю сначала её цензору Снегирёву, который несколько толковее других, с тем, что, если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю её в Петербург. Снегирёв через два дня объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что кроме одного незначительного места – перемены двух-трёх имён (на которые я тот же час согласился и изменил) нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирёва сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает её таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения, все без исключения, были комедии в высшей степени. Как только, занимавший место президента, Голохвастов услышал название «Мёртвые Души», – закричал голосом древнего римлянина: – «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мёртвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идёт об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мёртвые значит ревижские души, произошла ещё большая кутерьма. «Нет – закричал председатель и за ним половина цензоров: – этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа; уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирёв увидел, что дело зашло уже очень далеко; стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намёков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям; что здесь совершенно о другом речь; что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаши, которую произвела такая странная покупка, что это – ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.

«Предприятие Чичикова – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление» – «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. – «Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мёртвые души». – Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую даёт Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он даёт за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена даётся только за одно имя, написанное на бумаге, но всё же это имя – душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет».

Эти главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор Каченовский. Тут, по поводу, завязался у цензоров разговор, единственный в мире. Потом произошли другие замечанья, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещённою, хотя комитет только прочёл три или четыре места.

Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком серьёзно. Из-за комедий или интриг мне похмелье. – У меня, вы сами знаете, все мои средства и всё моё существованье заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное моё расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня немного, а теперь просто отымаются руки. Дело вот в чём. Вы должны теперь действовать соединёнными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу к А.О. Смирновой. Я просил её чрез великих княжен или другими путями. Это – ваше дело; об этом вы сделаете совещание вместе. Рукопись моя у кн. Одоевского. Вы прочитайте её вместе, человека три-четыре, не больше; не нужно об этом деле производить огласки.

*(Орфография и пунктуация авторские)*